

Литературное наследство

Выпуск 3

УДК 82-3
ББК 84
Л64

Л64 Литературное наследство: Выпуск 3 / – М.: Книга по Требованию, 2021. – 352 с.

ISBN 978-5-458-53165-8

"Литературное наследство" – старейшее российское издание, посвящённое истории отечественной литературы. Первый выпуск "Литературного наследства" появился в конце 1931 года. За 80 лет "Литературное наследство" извлекло из архивно-забытья и осуществило первые научные публикации многих тысяч незаслуженно забытых художественных, эпистолярных, мемуарных и других произведений А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Л.Н.Толстого, И.С.Тургенева, Ф.М. Достоевского, Ф.И.Тютчева, А.Н.Островского, А.П.Чехова, И.А.Бунина и их современников.

ISBN 978-5-458-53165-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

мах Маркса и Энгельса. Это совпадение объясняется очевидно тем, что Энгельс изложил Бернштейну свою точку зрения на эту драму. Любопытно, что Бернштейн попутно упрекает Лассалья в выпячивании тенденции (поверхностной) и в чрезмерном «рефлексировании»; все это доказывает, что эта критика была написана под влиянием Энгельса. Но совершенно иначе Бернштейн оценивает трагедию «Зикинген» и его автора в 1919 г., когда он после войны выпустил новое издание сочинений Лассалья. Бернштейн вскоре после смерти Энгельса сделался вождем ревизионизма и — увы — теперь он уже не критиковал, а опирался на Лассалья. Ренегат и социал-фашист Бернштейн в 1919 г. в предисловии к первому тому сочинений Лассалья пишет о «Зикингене»: «Франц фон Зикинген» разрабатывает исторический конфликт XVI в., который в иной форме вновь оживает в XIX и который XX век пытается разрешить опять-таки иным способом: это — борьба за единство Германии против притязаний различных светских и духовных властителей. Лассаль превозносит Зикингена и его друга и советника Гуттена как героев этой борьбы, окончившейся поражением благодаря тактическим ошибкам (!) Зикингена»¹. Возвращаясь к своей точке зрения в биографическом очерке к изданию 1892—1893 гг., Бернштейн продолжает:

«Лассаль, по мнению процитированной нами во введении биографии, впадает в заблуждение, игнорируя причинную связь между вышеуказанными ошибками Зикингена и тем обстоятельством, что Зикинген и Гуттен являлись представителями обреченного класса и поэтому были вынуждены своего рода необходимостью к такой политике, которая исключала возможность победы. Но если взять драму такой, как она есть, то оказывается, что Лассаль, преподнося своим мечтавшим о единой неделимой Германии современникам картину прежней неудачной борьбы за этот идеал, хотел предостеречь их от политических ошибок, повлекших за собой поражение Зикингена. Сущность этих ошибок он излагает в примечательной статье о трагическом замысле «Франца фон Зикингена», столь заслуживающей особого внимания в наше время, когда самое понятие о вине в политических актах сильно пошатнулось»².

Таким образом драма Лассалья теперь должна была служить ширмой для патриотических «отечественных» забот социал-предателя Бернштейна.

Немало писал о «Зикингене» и Франц Меринг в своей «Истории германской социал-демократии», биографии Маркса и ряде других своих работ. Но и Меринг, несмотря на то, что он был одним из вождей германской «левой», до конца жизни не освободился от полуменьшевистских взглядов, в частности и по вопросам литературы и искусства. В трактовке взаимоотношений между Марксом-Энгельсом и Лассалем он всегда оправдывал тактику Лассалья в раннем рабочем движении, противопоставляя ее тактике Маркса и Энгельса. И в области эстетики Меринг опирался в гораздо большей степени на идеалиста Лассалья, нежели на Маркса и Энгельса. Его защита творческого метода Лассалья, переоценка классического литературного наследства (в особенности Шиллера), недооценка пролетарской литературы и ряд неправильных положений в теории искусства, сближающих его в этих вопросах с Каутским, Троцким и другими центристами довоенного II Интернационала, восходят в значительной степени к эстетике Лассалья.

Лассальянство, как оно было выработано и оформлено в теории и практике самого Лассалья и его наиболее талантливого последователя И. Б. Швейцера, всегда и притом уже очень рано получало самый резкий отпор со стороны В. И. Ленина; в ряде статей он вскрывает оппортунизм этого течения в рабочем движении и разоблачает тех идеологов II Интернационала, которые или открыто проповедывали возврат к Лассалю, или покровительствовали лассальянству, вычеркивая например резкие отзывы Маркса и Энгельса о Лассале при издании их литературного наследства, и т. п. Помимо Бернштейна по этому вопросу в работах Ленина особенно резко критикуется и Меринг. Poleмику Маркса и Энгельса с Лассалем о «Зикингене» Ленин использовал в 1911 г. в вопросе о «левоблокизме». В статье «Принципиальные вопросы избирательной кампании»³, выступая против меньшевиков Ю. Чацкого, Л. Мартова и Ф. Дана, он пишет:

¹ Ferd. Lassalle, Gesammelte Reden u. Schriften. Hrsg. u. eingeleitet von Ed. Bernstein. Bd. I—XII. Berlin, Cassirer, 1919.

² Там же, т. I, стр. 9—10.

³ Ленин, Сочинения, 2-е изд., т. XV, стр. 347.

«Именно «левобюрократическая тактика», именно союз городского «плебса» (современного пролетариата) с демократическим крестьянством придавал размах и силу английской революции XVII, французской XVIII века. Об этом Маркс и Энгельс говорили много раз не только в 1848 году, но и гораздо позже. Чтобы не приводить много раз уже приводившихся цитат, напомним переписку Маркса и Лассалья в 1859 году. По поводу трагедии Лассалья «Зикинген» Маркс писал, что коллизия, проведенная в драме, «не только трагична, но она есть именно та самая трагическая коллизия, которая совершенно основательно привела к крушению революционную партию 1848 и 1849 годов». И Маркс, уже намечая в общих чертах всю линию будущих разногласий лассальянцев и эйзенхатцев, упрекал Лассалья, что он впадает в ошибку «тем, что ставит лютеровско-рыцарскую оппозицию выше плебейско-мюнцеровской». Нас не касается здесь вопрос о том, правилен или не правилен упрек Маркса: мы думаем, что правилен, хотя Лассаль энергично защищался от этого упрека. Важно то, что ставить «лютеровско-рыцарскую» (либерально-помещичью в переводе на русский язык начала XX века) оппозицию выше «плебейско-мюнцеровской» (пролетарско-крестьянской, в таком же переводе) и Маркс, и Лассаль считали явной ошибкой, считали абсолютно недопустимым для социал-демократа!»

В. И. Ленин тогда не знал полной переписки между Марксом, Энгельсом и Лассалем по поводу «Зикингена» и был знаком с точкой зрения Маркса лишь по цитатам в письме Лассалья; В. И. Ленин не знал также всех подробностей отношений Лассалья к Бисмарку, но он и по имевшимся тогда данным сделал все выводы и гениальным образом применил анализ, данный Марксом и Энгельсом в 1848, 1849 и 1859 гг. для революционной ситуации и соотношения классовых сил прежних революций, углубив его в применении к обстановке 1905 и 1917 гг., т. е. уже к эпохе империализма и пролетарской революции.

Полемика Маркса и Энгельса с Лассалем и применение ее В. И. Лениным — блестящая страница из истории борьбы воинствующего марксизма-ленинизма с оппортунизмом и идеализмом в рядах рабочего движения. Марксистско-ленинское литературоведение на этом примере конкретной критики и сугубо партийного подхода основоположников научного социализма должно учиться непримиримой борьбе с противниками пролетарского литературного движения.

Р с л.

I. ЛАССАЛЬ — МАРКСУ

[Берлин, 6 марта 1859 г.]

Дорогой Маркс!

В тот самый день, когда я получил твое письмо относительно Энгельса, я тотчас ответил тебе, уведомляя тебя, что дело мной улажено, и сообщая адрес, по которому ты или он должны послать рукопись. Ничего нового я по этому поводу пока не слышал. Надеюсь, что рукопись придет на этих днях, потому что в таких делах время не терпит.

Прилагаю при сем три экземпляра моего последнего произведения — для тебя, Фрейлиграта и Энгельса. Двум последним будь так добр доставить их экземпляры как можно скорее.

Какое изумление изобразится на твоем лице, когда ты увидишь драму, сочиненную мною! Почти такое же, какое испытал я сам, когда напал на мысль написать ее, или вернее, когда эта мысль напала на меня! Ибо все это возникло у меня не как продукт свободного творчества, которым решаешь заняться, но как некое принуждение, которое нашло на меня и от которого я никак не мог отделаться. Я, который даже в юные годы не написал ни одного лирического стихотворения, я — поэт! Как безумно я смеялся над самим собой, когда мной впервые овладела эта мысль! Но кто может идти против своей судьбы! — Постараюсь же объяснить тебе, как эта судьба меня постигла.

Это было в то время, когда я с напряжением всех сил заканчивал своего Гераклита. Ты вероятно увидел из него, что у меня есть некоторая способность, а следовательно и склонность к умозрительному мышлению. И тем не менее я бесконечно страдал, работая над этим сочинением. Пропасть, отделяющая эти научные, бесцветно-теоретические интересы от всего, что сегодня практически волнует нашу кровь, или, правильнее выражаясь, та лишь косвенная и отдаленная связь, которая все же имеется в последнем счете между обеими этими областями, вот что было причиной моего страдания, и могу тебя уверить, что оно было огромно. О, как часто, когда какая-нибудь ассоциация идей уносила меня из того мира мыслей, в который я должен был насильственно втиснуть себя, к нашим жгучим современным интересам, к великим вопросам дня, которые хоть и казались внешне застывшими, но в моей груди продолжали кипеть с прежним жаром, — как часто вскакивал я тогда из-за письменного стола и бросал прочь перо! Точно вся кровь застывала в моих жилах, и лишь после получасовой или еще более длительной борьбы с самим собой ко мне возвращалось самообладание, я мог заставить себя вновь сесть в кресло и вновь отдаться во власть железной концентрации мыслей, которой требовал мой труд. Очень тяжело после 48 и 49 гт., после того как уже пролито столько крови и столько дел вопиет о мести, все еще быть вынужденным заниматься теорией (я исключаю только политико-экономические сочинения, потому что они являются вместе с тем и практическими действиями), — особенно когда видишь, как никакое теоретизирование не приносит непосредственной пользы, как люди продолжают себе спокойно жить, словно лучшие и величайшие творения и мысли никогда не были написаны и высказаны! И в такое-то время заниматься умозрительными рассуждениями о греческой древности — я при всем желании не мог бы тебе описать, каких усилий мне это стоило. Но я всегда буду расценивать это как одно из наилучших свидетельств железной силы воли, выданных мною самому себе. Прости, дорогой друг, это лирическое излияние. Ты знаешь, что я в общем не лирик и привык как раз сильнейшие чувства таить в себе. Но иногда бывает необходимо излиться перед другом. А ты в сущности последний друг, оставшийся у меня среди мужчин. Мендельсон умер, графиня же, как ни превосходна эта женщина и как ни дорожу я ее дружбой, все-таки женщина и не в состоянии проникнуть с вполне исчерпывающим пониманием во все тайники мужского мышления. С тобой я в сущности мало жил. Тем не менее мне всегда казалось, что в тебе я имею истинного и настоящего друга. Да ты ведь и сам знаешь, что я всегда так смотрел на тебя. У меня есть, в особенности теперь, много так называемых добрых друзей. Но для дружбы, о которой я говорю сейчас, этим другим недостает хотя бы уж необходимого умственного развития и одинаковости духовных интересов.

Но довольно, вернусь к моему рассказу. Итак, я довел Гераклита до конца, но я пожалуй не сумел бы этого сделать, если бы не нашел спасительного средства в том, что занимался одновременно по ночам, как бы для успокоения, специальным изучением одного предмета, находившегося в тесном родстве с нашими актуально-политическими интересами и т. д., но вместе с тем не настолько непосредственно актуального, чтобы поглотить меня целиком. Привыкнув с ранних лет заниматься попеременно четырьмя-пятью науками, я изучал по ночам средние века, эпоху реформации, над котсрой я уже прежде много работал, в особенности произведения Гуттена и т. д. Сочинения и жизнь этого удивительного человека опьяняли меня. Однажды я, потрясенный до глубины души некоторыми его вещами, ходил взад и вперед по своей комнате. Несколько дней до того мне пришлось перелистать одну ничтожную современную драму. Так возникла во мне ассоциация идей

Я сказал себе — ибо я никогда не подумал бы при этом в первый же момент о себе самом — боже, если бы хоть кто-нибудь из этих людей, тратящих попусту свой маленький талант на такие вещи, посоветовался бы со мной относительно темы. И я подумал, как я рекомендовал бы им Гуттена, и стал далее думать о том, как бы они составили план подобной драмы, затем от Гуттена — с которым дело опять застряло бы в чистой теории — я перешел к Зикингену как к главному герою. И едва мелькнула у меня эта мысль, как тотчас же, словно по какой-то интуиции, весь план возник передо мной в готовом виде, и в то же мгновение мною овладело повелительное чувство, от которого я уже не мог отделаться: «ты это должен и выполнить». И как я ни робел перед этой задачей, она все же захватила меня. Теперь я мог упиваться чувствами возмущения и ненависти, мог дать волю их набегающим волнам, мог наконец излить свое сердце! Так я нашел способ освободиться от тех удушливых притоков крови к сердцу, которые без этого пожалуй не дали бы мне довести до конца Гераклита.

Вот как возникла эта вещь. И я должен сказать, что я считаю ее в сущности прекрасной — не знаю, ослепляет ли меня субъективное чувство, но во всяком случае ты не сочтешь это откровенное заявление за тщеславие, которому оно скорее диаметрально противоположно. Но пусть бы это даже была прекраснейшая вещь в мире, — больше я не напишу ни одной драмы. Эта одна была на меня возложена как бы роковым велением свыше, и больше это не повторится!

О формальной основной идее моей трагедии я написал для некоторых знакомых, менее тебя привыкших к спекулятивному мышлению, небольшую статью, предназначенную разумеется только для частного пользования, но никак не для печати. Чтобы ты не счел меня слишком педантичным и настолько глупым, что я сам выдаю своей трагедии свидетельство о бедности, точно она нуждается в особой *fabula docet* (морали), я замечу, что поводом к этому комментарию было возражение, сделанное мне одним хорошим знакомым, и к тому же еще в якобы гегелевском духе; этим объясняется и форма статьи. Кроме того я воспользовался ею, как ты без труда увидишь из самого текста, чтобы заодно осветить в общих чертах мой спор с моими здешними знакомыми о политическом положении и нашем отношении к нему. Раз статья уже написана, я счел уместным прислать и тебе один экземпляр. Тебе она конечно не нужна, чтобы понять спекулятивную идею драмы. Но все же она представит для тебя тот интерес, что даст тебе возможность судить с полной уверенностью о том, что я сам хотел сказать своей драмой, в отличие от того, что в нее можно вложить со стороны, а также о том, насколько замысел и выполнение покрывают друг друга. Итак, прочти пожалуйста эту статью до или после прочтения драмы и будь так добр, передай ее потом Фрейлиграту, для которого, при его меньшей привычке к спекулятивному мышлению, она и вообще может оказаться не совсем лишней интереса.

Наконец сама собой подразумеваемая просьба — написать мне обстоятельное и вполне откровенное мнение о том, как ты находишь мою вещь. (Из предисловия ты увидишь, что она в такой форме не предназначена для постановки на сцене. Для сцены я обработал ее отдельно в очень сокращенном виде. Впрочем надежда на постановку при нынешних политических условиях равна разумеется нулю.) Итак, жду правдивого отзыва между прочим и о том, считаешь ли ты, что она будет полезной в ожидаемом мною смысле.

Жму сердечно руку, искренний привет твоей жене, Фрейлиграту и Энгельсу.

Твой Ф. Лассаль.



КАРЛ МАРКС

С фотографии (конца 50-х гг.), хранящейся в Музее Маркса и Энгельса

[РУКОПИСЬ О ТРАГИЧЕСКОЙ ИДЕЕ, ПРИЛОЖЕННАЯ ЛАССА-
ЛЕМ К ПИСЬМУ ОТ 6 МАРТА 1859 г.]

Относительно формальной трагической идеи, положенной мною в основу предлагаемой драмы и ее катастрофы, — о глубоком диалектическом противоречии, присущем природе всякого действия, в особенности революционного, — я конечно не высказался в имеющем общий характер предисловии, а в самой трагедии наметил ее отчетливее лишь в пятом акте.

Вечная сила всех господствующих классов, защищающих существующий порядок, заключается в безошибочной, проработанной сознательности, с какой они представляют себе свой классовый интерес именно как уже господствующий, проработанный.

Вечная слабость всякой правомерной революционной идеи, пытающейся осуществиться практически, заключается в недостатке сознательности со стороны членов преданных ей классов; принцип которых еще не осуществлен, а также в связанной с этим неорганизованности имеющих в ее распоряжении средств. Всегда повторяющееся при этом диалектическое противоречие состоит вкратце в следующем. Сила революции заключается в ее воодушевлении, в этом непосредственном доверии идеи к своей собственной мощи и бесконечности. Но воодушевление — как непосредственная уверенность во всемогуществе идеи — есть прежде всего абстрактное невнимание к конечным средствам действительного осуществления и к трудностям реальных осложнений. Воодушевление должно поэтому ввязаться в реальные осложнения, перейти к действию с помощью конечных средств, чтобы достигнуть своих целей в конечной действительности. Иначе в своих мечтаниях о том, чего оно желает (о цели), оно упустит из виду реальную сторону осуществления.

При таких обстоятельствах следует повидимому признать торжество высшего реалистического благоразумия революционных вождей, когда они считаются с данными конечными средствами, скрывают от других (и тем самым даже от самих себя) подлинные и последние цели движения и посредством этого умышленного «обмана» господствующих классов, более того — посредством их использования, приобретают возможность организовать новые силы, чтобы затем с помощью этой умно завоеванной части действительности победить самую действительность.

Такое бесконечное реалистическое превосходство над Гуттенем проявляет Зикинген в третьем акте, как он и вообще постоянно сохраняет над ним, этим лишь духовным революционером, превосходство реалистического взгляда на вещи и практически-политического, государственного гения. Но в этом ввязывании воодушевления в конечное, в этом его подчинении последнему оно отнюдь не осуществляет себя, а наоборот, отказывается от своего формального принципа — бесконечности идеи, — отдает себя во власть своей противоположности, конечности, как таковой, в упразднении которой и состоит ее значение, и поэтому здесь оно должно потерпеть крах.

Действительно, хотя рассудку и трудно это признать, почти кажется, будто есть какое-то неразрешимое противоречие между спекулятивной идеей, составляющей силу и воодушевление революции, и конечным рассудком с его расчетливостью. Большинство революций, потерпевших крушение, разбились — всякий истинный знаток истории должен с этим согласиться — об эту расчетливость, или по крайней мере крушение потерпели все революции, пытавшиеся опереться на эту расчетливость. Великая французская революция 1792 г., победившая при самых трудных обстоятельствах, победила только потому, что сумела отбросить в сторону рассудок.

В этом разгадка силы крайних партий во время революций и в этом же разгадка того, почему инстинкт масс во время революций в общем гораздо

правильней, чем сознание интеллигентов. «И чего не видит разум умников, то осуществляет на деле, и т. д.». Именно недостаток образования, свойственный массам, предохраняет их от подводных камней расчетливого образа действий.

Впрочем в сказанном уже заключается действительное разрешение и внутренняя необходимость упомянутого диалектического противоречия между бесконечной целью идеи и конечным благоразумием компромисса.

Ибо 1) как уже было отмечено, интерес господствующих классов именно потому, что их принцип господствует и поэтому является вполне проработанным, сознательным, не может быть обманут. Отдельные личности могут быть обмануты, но классы — никогда!

2) В особенности же компромисс как уступка существующему неизбежно должен — и притом, как уже было упомянуто, столько же в формальном отношении, сколько именно поэтому и в отношении содержания — в большей или меньшей степени порвать со своим принципом, т. е. с тем, что составляет силу и оправдание революций, должен встать на почву принципа противника и тем самым уже теоретически признать себя побежденным, и тогда остается только привести в исполнение этот его приговор над самим собой. — Цель только тогда может быть достигнута каким-нибудь средством, — как это с мастерским глубокомыслием показал старик Гегель и отчасти знал уже до него Аристотель, — когда уже заранее само средство насквозь проникнуто собственной природой цели. Цель должна быть выполнена и осуществлена уже в самом средстве, и последнее должно быть запечатлено ее природой, чтобы она могла быть достигнута с помощью этого средства (поэтому в гегелевской логике цель достигается не через средство, а обнаруживается в самом средстве как уже выполненная). Таким образом всякая цель может быть достигнута только посредством того, что соответствует ее собственной природе, и следовательно революционные цели не могут быть достигнуты дипломатическими средствами.

Или 3) говоря более реально, революции можно в конце концов делать только с помощью масс и их страстного самопожертвования. Но массы именно вследствие их так называемой «грубости», вследствие того, что они лишены образования, совсем не понимают компромиссов, они интересуются — ибо всякий неразвитой ум признает только крайности, знает лишь да и нет и никакой середины между ними — только крайним, цельным, непосредственным. Вместо того чтобы устранить перед собой своих обманутых противников и иметь позади себя своих друзей, такие революционные люди расчета (Revolutionsrechner) неизбежно кончают тем, что имеют перед собой врагов и устраняют позади себя своих единомышленников. Таким образом мнимый разум оказывается на деле высшим неразумием.

Впрочем вполне естественно, что чем больше отдельные личности обладают весом и значением в действительном мире, зоркостью взгляда, благоразумием и образованием, тем легче они впадают в ошибку этой роковой, мнящей себя реалистической рассудочности. Этим объясняется то, что например во время французской революции (и во время английской было нечто аналогичное) абстрактные идеалисты, якобинцы, угадывали возможное и реально осуществимое в тот момент лучше, чем кичившиеся своим образованием, реалистическим взглядом на вещи и государственным умом жирондисты, которые и получили поэтому от народа — ненавидящего это государственное благоразумие — странное ругательное прозвище «государственных людей».

Это «лукавство» Зикингена там, где дело идет об идее, Впрочем не наносящее ущерба его революционному величию и радикальной решимости и не превращающее его в примиренца, ибо он не изменяет ни на йоту революционным целям, по отношению к которым он идет дальше всех, и лукавит

голько в смысле способа их осуществления, — это лукавство и есть таким образом вина Зикингена, и конечно это — «великая ошибка», как того требует Аристотель.

Но, мог бы кто-нибудь возразить, эта «великая ошибка», как бы велика она ни была, есть все-таки лишь интеллектуальная ошибка, а не нравственная вина, и следовательно она не трагична.

На это я должен ответить трояко. Прежде всего я ни в каком случае не согласился бы с тем, что диалектика глубочайшего интеллектуального, внутренне неизбежного и поэтому вечного идейного конфликта не является сама по себе глубоко трагическим мотивом, как это доказывает античная трагедия, почему Аристотель вероятно и ограничился требованием «великой ошибки». Во-вторых, эта интеллектуальная вина есть уже на том основании моральная вина, что к тому, кто ставит себя настолько выше существующего порядка, что хочет его ниспровергнуть и заменить его принцип своим собственным, должно быть предъявлено требование, чтобы он и действительно был духовно настолько выше, иначе придется сказать, что он «вззнался» (в античном смысле слова).

Наконец, в-третьих, несомненно, что эта интеллектуальная вина носит по преимуществу и нравственный характер, ибо она проистекает как раз из недостатка доверия к нравственной идее и к ее самой в себе и для себя сущей бесконечной мощи и из чрезмерного доверия к дурным конечным средствам. В ней заключается таким образом недостаток непосредственной уверенности и убежденности в идеальном, далее недостаток безграничной полной откровенности, а следовательно, так как и то и другое необходимо для революционной точки зрения, и уклонение от своего принципа, частичная надломленность.

В религиозных войнах это явление большей частью не наблюдается, непосредственная мечтательная убежденность во всемогуществе божественного исключает здесь его возможность.

(В том и состоит историческое величие и решающая сила Лютера, что в тех пунктах, которых он действительно хотел достигнуть во что бы то ни стало, он не знал этого благоразумия, не делал никаких уступок, не входил в компромиссы с господствующими силами и не считался с «возможным», но — я говорю об его первом периоде — обращался непосредственно к простому человеку.) Отсюда та нередко чудесная победительная сила, с какой эти фанатики так часто осуществляют невозможное, почти непостижимое. Отсюда также драматически захватывающая сила этих вдохновенных фанатиков. В их односторонности заключается сила их действия, потому что всякое деяние односторонне.

Таким образом названная вина Зикингена является именно нравственной виной по преимуществу, но виной, которая, если можно так выразиться, смягчена тем, что она интеллектуальна, и именно потому, что она интеллектуальна, что она основывается на идейном конфликте, постоянно повторяющемся во все переломные эпохи, она перестает быть виной частного случайного лица и в свою очередь становится необходимой вечной точкой зрения, неоспоримая относительная правда которой и глубочайшая внутренняя неправда влекут за собой ее трагическую судьбу, ее диалектическую гибель. *Mutato nomine de nobis fabula narratur* (под другими именами речь идет о нас самих), и так это будет вечно. Именно такого рода виновность, в одно и то же время нравственная и интеллектуальная и как раз поэтому-то основанная на вечном и необходимом объективном идейном конфликте, и составляет, как мне кажется, глубочайший трагический конфликт.

Или, чтобы выразить теперь мой взгляд со всей определенностью и четкостью, всякая действительно нравственная вина только интеллекту-

альна, и лишь та вина является нравственной, которая интеллектуальна. Ибо нравственная вина в отличие от моральной, которая связана исключительно с отдельным субъектом и его внутренним миром, заключается не в чем ином, как именно в практике и реализации объективной и относительно правомерной мысли и мысленной позиции, которая однако не умеет справиться со своей диалектической противоположностью, вследствие этого нарушает созвучие как в мире идей, так и в реальном мире и поэтому в теории является односторонней, а на практике — виновной.

Впрочем Зикинген снимает с себя в пятом акте как интеллектуальную, так и нравственную вину тем, что осознает ее и переходит к искипяющему действию. Отбросив в сторону свои дипломатические сомнения и лукавства, он ставит на острие меча свою судьбу и судьбу страны. — Но теперь уже поздно, и так оно должно быть согласно трагической идее. Оскорбленные боги мстят за себя, и, к несчастью, диалектика оскорбленных идей разума мстит за себя еще более жестоко и неумолимо, чем любой из греческих богов. Жизнь и история — жестокая практика логики, и какая жестокая!

В том, что Зикинген вынужден теперь силой обстоятельств сделать неправильный шаг: подвергнуть себя и заодно страну (как уже при осаде его замка, так и при вылазке) чистой случайности, в которой страна и его принципиальные приверженцы в ней вовсе не стоят за ним, так что подлинная сила обеих сторон здесь вовсе не обнаруживается и не является решающим моментом; в том, что этот великий дипломат и реалист, желающий тщательно вычислить все заранее и совершенно исключить всякую случайность, как раз поэтому-то и вынужден в конце концов предоставить все чистой случайности, — в этом заключается настоящая и самая жестокая диалектическая кара, выпавшая на его долю. Вместо того чтобы открыто апеллировать к принципам и развязать их революционную силу, он в трирском походе поставил историческую идею и национальное дело на почву предприятия, у которого старательно отнял его общее значение и которое облек в видимость случайности. И поэтому, как он ни хотел предусмотрительнейшим образом исключить всякую случайность, он сам призвал на помощь случай, и так как его расчет на обман с помощью видимости случайного и несущественного должен разбиться о сознательный характер существующего порядка, то он вынужден принять решение своей судьбы не из рук подготовленной случайности, как ему того хотелось, а скорей из рук подлинного, неподготовленного случая. Поэтому он и гибнет не вследствие превосходства старого — что не было бы действительно трагической гибелью, ибо неизбежное падение старого, впрочем далеко еще не равносильное достижению великих целей Зикингена, достаточно ясно чувствуется в пятом акте, — но он гибнет вследствие собственной ошибки.

Необходимым представляется мне и то, что Валтасар только в пятом акте получает возможность раскрыть Зикингену истинную сущность дела, в третьем же акте не успевает этого сделать. Было бы ущербом либо для формального величия духа Зикингена, либо для его нравственного воодушевления, — что я еще менее мог допустить, — если бы Валтасар уже раньше раскрыл ему эту истинную сущность, а Зикинген все-таки продолжал бы держаться своей точки зрения. Он тогда непременно сделался бы менее значительным умственно или нравственно, чем он должен быть. Теперь же его интеллектуальная вина отнюдь не роняет его, потому что она опирается на нечто тоже существенное и правомерное, и она особенно смягчается тем обстоятельством, что и зритель или читатель до пятого акта наверное будет на его стороне. Точно так же и его нравственная вина, до его беседы с Валтасаром, является чисто бессознательной, но именно поэтому

в данном случае вдвойне трагичной и подходящей к его чистому характеру, между тем как после этой беседы она стала бы сознательной и следовательно умаляющей его умственно или нравственно.

Только в тот момент, когда уже слишком поздно, допустима речь об ошибке, в которую впал Зикинген на победоносной высоте своего благоразумия, и тут Валтасар должен быть настолько же выше Зикингена, насколько последний выше Гуттена в третьем акте. Примыкающая непосредственно к этому диалогу крестьянская сцена являет как бы хор и ту среду, которая действительно откликается на ряд идей, высказанных Валтасаром.

Впрочем Зикинген в следующей же сцене возвращает себе свое яркое героическое превосходство над теоретическим превосходством Валтасара: между тем как последний совершенно подавлен и удручен, и кажется, что все должно погибнуть, Зикинген мгновенно выпрямляется и, став на точку зрения Валтасара, задумывает и выполняет план спасения.

То, что названным превосходством я вообще наделил Валтасара, а не Гуттена, мне тоже представляется необходимым.

Во-первых, в характере Гуттена, как я его обрисовал, преобладает лирический тон, и ему таким образом эта роль не подходит. Напротив, Зикинген есть и остается по отношению к нему, этому, как уже было замечено, лишь духовному революционеру, с начала до конца более сильным, политически дальновзорким реалистическим героем. Он предвидит развитие событий, как оно сложилось и должно было сложиться в результате одного только завоевания религиозной свободы, которую Гуттен считал нужным спасти прежде всего.

Во-вторых, у Гуттена не было бы, если бы он должен был руководить здесь Зикингеном, никакого другого средства кроме воодушевления. Но в этом отношении Зикинген ни на йоту не должен уступать ему, как он и действительно в своем сосредоточенном, непосредственно практическом пафосе в третьем акте давно уже решил действовать и выработал соответствующий план, между тем как Гуттен, которого он настолько превосходит, думает, что его еще надо побуждать к действию.

В-третьих, наконец, одно только воодушевление — и это возвращает нас к сказанному вначале — никогда не могло бы быть более сильным и верным средством, чем реалистическая пронизательность Зикингена. Со своим игнорированием конечных средств оно ведь так же абстрактно-односторонне, как и сама эта точка зрения конечных средств, и если оно внутренне и попадает в цель более метко, то оно все-таки не может достаточно сильно проявить свое действительное внутреннее право и таким образом привлечь к себе противоположную точку зрения. Обе являются стало быть лишь относительно правомерными и абстрактными противоположностями. И Зикинген является тут пожалуй даже более высокой и сильной стороной. Действительно возвысить реалистическую точку зрения Зикингена над нею самой способна только еще более реалистичная натура Валтасара, который из своего многолетнего опыта почерпнул свой зрелый взгляд на вещи и законченное познание законов истории и движения народов. Только реалистическая мудрость может преодолеть реалистическое благоразумие и поднять его над ним самим. Однако примирение заключается отчасти в том, что, поскольку дело идет о религиозных целях Зикингена, их позднейшее торжество является фактом и, как уже было замечено, достаточно ясно просвечивает в пятом акте; отчасти же и в особенности в том, что, поскольку дело идет о его более далеких и более важных политико-национальных целях, именно наше время снова начало борьбу за них в аналогичной, хотя еще более широкой форме и упорно выполняет этот суровый труд, страдая и борясь, — как бы в осуществление пророческого намека в заключительных словах Гуттена. И я